

Журнальный ад — самый незлобивый и приятный. В нем горят неугасимые огни, которые никогда никого не опалили; в нем бегают из угла в угол комолые и бесхвостые черти, которые никогда никого не уязвили; в нем раздается родительская брань, которая не задевает ни родителей, ни потомков; в нем являются на сцену выпрашивающие милостыни и сожаления журнальные семейства — и никто не требует от них удостоверения в убожестве; в нем дают представления целые стада «человекообразных», которые во что бы то ни стало хотя бы притвориться людьми и которых никто не останавливает, никто не говорит: «Погодите, ваша очередь еще не пришла». В довершение всего роль сатаны неожиданно присвоил себе известный попрошайка, Макар Алексеич Девушкин, тот самый Девушкин, который из гоголевской «Шинели» сумел-таки выкроить себе, по малой мере, сотню дырявых фуфаяк.

Представьте себе Девушкина, сидящего в сатанах! Вместо пламени из глаз его лезет гной; вместо змеиной короны на голове у него колтун; вместо яда уста источают помои. «Матинька вы моя! Простите вы меня, что я так кровожаден. Матинька вы моя! Я ведь не кровожаден, а должен только показывать, что жажда убийства не чужда душе моей, матинька вы моя! Я бедный сатана, я жалкий сатана, я дрянной сатана, матинька вы моя! не осудите же, простите вы меня, матинька вы моя!» Так непрерывно вопиет этот прокаженный вельзевул, и, несмотря на свои немощи, несмотря на то что весь так и пропитан попрошайством и лизоблюдничеством, все-таки лезет в драку: я, дескать, исправляю должность сатаны.

Поистине жалкий и смешной ад. Так и хочется сказать этому слепенькому, пыжащемуся сатаненку: «О чем ты стужаешься, бедный пичуга? к чему прудишь целые пруды своими помоями? не в свое ли собственное ложе прудишь ты? зачем тебе бездыханное тело твоего врага? и кто твой враг, кто этот праздный человек, которому до того нечего делать, что даже

гной глаз твоих, даже твое умильное попрошайство — и те его смущают и представляются предметами достойными противодействия?»

Игрушечный мастер Ваканский должен непременно воспользоваться подобным положением и устроить на продажу картонный литературный ад; с своей стороны, благонамеренные родители обязываются нарасхват раскупить эти игрушки, дабы показать детям своим, что самый ад может быть дрянным, незлобивым и безобидным.

Отчего ж он жалок? отчего смешон? Ответ на этот вопрос совсем не так мудрен, как кажется с первого взгляда. Оттого, просто, что над русской журналистикой висит целая туча бездельничества.

Под «бездельничеством» я отнюдь не разумею что-либо преступное или такое, за что занимающийся этим ремеслом подлежал бы лишению прав состояний; нет, «бездельничество» означает здесь лишь полное отсутствие какой-либо живой руководящей мысли, означает занятие таким делом, до которого ровно никому дела нет. Зритель смотрит на картонные турниры, в которых принимают участие картонные рыцари, вооруженные картонными мечами, — смотрит и недоумевает. «О чем они? К чему они? Птицы-то, птицы-то зачем тут?» — вот единственный вопрос, который он может себе задать по этому поводу и на который ни под каким видом нигде не отыщется ответа.

Откуда нашла на русскую журналистику эта туча, я не берусь разрешить; но полагаю, что для уяснения себе этого вопроса не нужно лазить ни в историю, ни в розыскание современного положения общественного темперамента, ни даже в анализ наличных литературных сил. Гораздо проще, по моему мнению, будет, если мы примем это явление, как факт глухой, как знаменье особенного божьего гнева, над нами тяготеющего.

В самом деле, если посравнить русскую литературу и журналистику за пять и даже менее лет перед сим с теперешней, то невольно придешь в недоумение. Пять лет перед сим в ней было заметно если не самое дело, то, по крайней мере, стремление к делу, попытки взять это дело за ухо, положить на стол и приступить к его рассмотрению. Правда, что тут было много праздных, а еще более наивных слов, правда, что тут на арену выступило множество таких микроскопических деятелей, а на алтарь отечества посыпалось бесконечное число до такой степени вдовьих лепт, что в большинстве случаев невозможно было удержаться от смеха, но ведь первый блин всегда комом бывает, а при разборе отечественного мусора дело, ко-

нечно, не могло обойтись без некоторого микроскопического самохвальства. По крайней мере, читатель видел, что здесь идет речь о чем-то для него не безынтересном, и затем сам уже имел возможность между множеством копошащихся пигмеев выбрать того, который приходился ему по вкусу. Сверх того, не подлежит сомнению и то, что пигмеи эти (были между ними, впрочем, некоторые и побольше ростом), будучи предоставлены самим себе, при помощи взаимного побивания, со временем все-таки очистили бы литературную арену от излишнего накопления деятельных сил и таким образом сделали бы невозможным дальнейшее вторжение ненужных элементов. Но посмотрите, что делается теперь! прочтите нагло-истерически-пустопорожние статьи московских публицистов, прислушайтесь к хладно-умеренно-размазистым разглагольствованиям петербургских газет, наконец, приблизьте к вашему носу сплетнические извержения стрижей и человекообразных! Что вынесете вы из этого сумбура? — увы! вы не вынесете даже представления, о чем тут идет речь.

И опять-таки повторяю: я вовсе не желаю входить в изыскание причин, породивших такое явление, а просто констатирую факт. И ежели кто меня спросит, почему же такое многообещающее начало привело к таким истинно жалким последствиям, тому я скажу: ищи сам, будь сам настолько остроумен и любознателен, чтобы догадаться, в чем тут дело. Я же, с своей стороны, могу присовокупить, что вдаваться в разрешение подобных вопросов значит добровольно обрекать себя на ту самую работу, за которую, по свидетельству Гоголя, брался известный Кифа Мокиевич.

Что статьи московских публицистов можно читать без ущерба для них и сверху вниз, и снизу вверх — это вещь не новая и всем известная. Гораздо более достойно замечания то, что они не только не стыдятся этого, но даже высказывают публично, что подобное поведение вовсе не постыдно, что над ними ничто не тяготеет, что они душедрянятствуют и умонелепствуют по собственному своему усмотрению, состоя, так сказать, в твердой памяти и здравом рассудке. Ужаснее положения этих людей я не знаю. Каждый день быть вынужденным выжимать все один и тот же выжатый лимон, каждый день выматывать из себя миллион аршин лент, миллион раз уже вымотанных миллионом других не менее искусных пресидигаторов, каждый день заштопывать и починивать все одну и ту же дыру, и при этом сохранять веселое выражение в лице, улыбаться, уверять: «Это я, это я сам», грациозно покачивать головкой или, в знак искренности, вдохновенно закатывать глаза, — воля ваша, это должно быть такое страшное испыта-

ние, которого не выдержат самые огнепостоянные натуры. В действительности, оно так и выходит. Как ни сверхъестественны усилия, делаемые московской публицистикой, чтобы заявить себя убежденною и убеждающею, она успевает в этом только до некоторой степени, да и то лишь относительно наружной отчеканки своей бесконечной работы. Снаружи — елейная раздутость фразы, снаружи — истинно соловьиная способность незаметно переходить из «трели» в «оттолчку», из «оттолчки» в «юлу», внутри — прах, прах и прах. Впечатление, производимое этим истерическим красноречием, можно сравнить только с впечатлением, которое производит зеленый, совсем назревший дождевик. Издали он кажется привлекательным, как будто даже устойчивым; кажется, что это словно какое-то оригинальное растение, но подойдите к нему ближе, дотроньтесь пальцем — и увидите, что из него вылетит целая туча черного, дрянного праха. Все эти «форейторы, сломя голову скачущие вперед», эти букеты, пускаемые по части чувств, эти воззвания к невежеству, ненависти, злобе, мести и т. п., — все это темный прах, который ни к чему не приводит, кроме ощущения очень неопределенного и вполне безотчетного. Но разве это результат? разве результаты ясные, положительные и прочные достигаются обращением к темным и бессознательным силам, временно или постоянно господствующим в обществе? Но предположим даже, что все эти букеты как раз придутся по плечу большинству, но ведь и это еще далеко не результат. Не надо забывать, что большинство забывчиво, что оно, хотя и способно приходить в восторженное состояние от хмельной фразы, но удерживает в своей памяти все-таки одно дело. А этого-то дела именно и нет, и как ни улыбаются почтенные публицисты, как ни прикидываются развязными, они не могут не сознавать, что недалеко то время, когда внутреннее их убожество раскроется само собою. Когда не будет повода для фразы, когда необходимость в тропях и фигурах исчезнет, что станется с тобою, бедная московская пресса? И вот что ужасно: вчера эти люди выжимали выжатый лимон, сегодня выжимают, но ведь и завтра, и послезавтра придется им делать все ту же операцию, и так до бесконечности все выжимать, все выжимать. И ежели идея о вечности имеет свойство пугать человеческое воображение, то еще больше пугает она его, обставленная такими поистине истязательными обстоятельствами.

Несколько иной наружный вид имеет хладно-размазистое красноречие публицистики петербургской. Это прах сдержанный, в противоположность умильно-развязному праху публицистики московской. Петербургская журналистика выжимает

все так же выжатый лимон, но не говорит при этом: «Это я, это я сама», а делает гримасу, как будто ей противно. Конечно, один бог, видящий сердца наши, может знать, до какой степени непритворна эта похвальба, но, во всяком случае, уже то одно делает не малую честь петербургской журналистике, что она обнаруживает некоторые признаки томной стыдливости. Притворно переполняться так называемую «гражданскою скорбью», конечно, не похвально, но все же лучше, нежели непритворно снять с себя все покровы благопристойности и в голом виде расхаживать по отечеству. В первом случае, по крайней мере, не имеется соблазна, тогда как во втором наглый гистрион может найти тысячи похотливых собак, которых хлебом не корми, да покажи обнаженное человеческое мясо. Однако, как ни сдержан вид петербургской публицистики, как ни старается она намекнуть, что со всех сторон обижена и угнетена, все-таки публика ничего от этого не получает и получить не может. Какое дело читателю до того, что публицист о чем-то помалчивает, что он явно выставляет себя казанским сиротою, что сквозь каждую его строчку так и сочится: «Я не виноват: поймите, что я не виноват!» — читатель нетерпеливо прислушивается ко всем этим недомолвкам и обвинениям: он пропускает мимо ушей полуфразы, полуслова, он все еще надеется нечто понять, к чему-нибудь прицепиться — и в результате получает *прах!!* Да, тот же прах, потому что сущность его, будет ли это прах стыдливый или самодовольно-нахальный, все-таки такова, что из нее не выжмешь не только дела, но и намек на дело. А ежели судить строго, то в этом случае прах приобретает даже сугубый характер. Ничего нет тяжелее, неловче положения публициста стыдящегося, с скрещенными на груди лапками вымаливающего себе прощения и снисхождения: он путается во фразах, он виляет языком, он делает объезд в тысячу верст, чтоб избежать употребления неприятного для его уха слова или чтоб поместить то малое слово, которое особенно дорого его уязвленному публицистскому сердцу, — и все усилия его тщетны. Публика видит насквозь его игру, видит, что игра эта затеяна собственно в видах личной защиты, что она скрывает за собой фразу: «Поймите! ведь я совсем не так глуп и невежествен, как кажусь!» — и нимало не трогается его мольбами. Она просто-напросто говорит: «А кто же тебя знает! может быть, ты и в самом деле невежествен и глуп!» И публика права, потому что ежели она мало получает от публицистики нагло-восторженной, то еще менее может получить от публицистики сдержанно-размазистой, ибо последняя обязывается совсем, совсем-таки молчать о деле, чтобы не выйти из своего характера. Положение ужас-

ное. Публицист, который в душе, быть может, готов бы был горло всякому встречному перегрызть, должен сидеть смиренно и потихоньку да полегоньку выжимать себе да выжимать давно выжатый лимон. И при этом никогда не видеть конца своей работе, не иметь возможности вымолить облегчения этому каторжному занятию.

Наконец, есть еще третий оттенок литературной деятельности — это так называемая стрижиная деятельность. Надо сказать правду, стрижи первые сделали попытку, чтобы доказать, что можно мыслить без головы, с помощью одних крыльев. Здесь найдете вы и хныканье, и злобство, и сплетни, сплетни без конца; одного не найдете — дела. Стриж забывает самого себя; сию минуту он говорил нечто, говорил изобильно, хотя и не резонно; через мгновение он все забыл, забыл не только то, об чем говорил (этого-то, собственно, и упомнить нельзя), но и то, говорил ли он или молчал. Он безразлично подбирает все негодные объедки, выбрасываемые из прочих журналов, и, не входя в разбирательство, могут ли они стоять рядом или не могут, пичкает ими свой безобразный виногрет. Причина такого безразличного пичканья заключается в совершенном отсутствии памяти и известном последствии этого отсутствия — невозможности делать сравнения, сопоставления и выводы. Стриж всему изумляется, по поводу всего раскрывает рот, ибо факты представляются ему изолированными и потому всегда новыми. Вчера он видел известное явление и изумлялся ему; сегодня он уже забыл об этом явлении и, видя его вновь, вновь изумляется. Одно только слово «почва», словно типун, засело у него на языке, и им-то старается он прикрыть свой бессмысленный виногрет. Но, с одной стороны, слово это пошло, потому что до бесконечности растяжимо; с другой стороны, оно растяжимо, потому что до бесконечности пошло. Надо думать, что оно и придумано, собственно, затем, чтобы можно было во всякое время юркнуть и спрятаться под сению его. Ибо самый величайший мудрец, встретившись с ним, что же может произнести, кроме: фу! а хитрый стриж между тем клюет себе да плетет свои сплетки под защитою этого своего рода непроходимого болота. Собственно, это даже и не литературная деятельность, а просто словесные упражнения, без подлежащего, сказуемого и связки, но надо было упомянуть об нем для того именно, чтоб читатель видел, до какого растленного положения может доходить, при известных условиях, печатное слово, эти геркулесовы столпы, далее которых литературный прах идти не дерзает. Это литературный прах искренний, сознающий себя таковым и вполне убежденный в своей законности.

Итак, вот отношения журнального ада к делу. Нет ни одного вопроса, в оценке которого можно было бы не заподозрить или неискренности, или уклончивости, или, наконец, глупости. Можно после этого судить, каково должно быть влияние этого ада на общество.

А между тем вопросов этих стоит на очереди множество; по крайней мере, так утверждает «День». «Какие же это вопросы?» — добивается от них любознательный читатель. «Множество», — опять отвечает «День», а за ним и другие восторженные органы печатного слова, и с огорчением в сердце ждут, пока внешняя жизнь не выблует им этих вопросов на растерзание. Тогда-то они покажут себя, тогда-то они явят себя истинными сынами отечества... И не покажут и не явят ничего!..

О! ежели бы они знали, что лучше возбуждать один самодельный, но определенный вопрос, нежели разглагольствовать о «множестве», разгуливающим инкогнито! если б они знали, что выгоднее совсем умолчать о «множестве», нежели систематически раздувать этим словом и без того уже раздутое тщеславие праздных зевак! Ибо не надо ошибаться, что для многих и очень многих самое слово «множество» имеет очень большую обаятельную силу, которая вполне удовлетворяет их. «Эге! да у нас «множество» вопросов, — говорят они, — стало быть, мы не спим, стало быть, мы прогрессируем!» И, успокоившись на этой мысли, идут себе на печку спать.

Да; нет более ужасного литературного яда, как тот, который высказывается в неопределенных, напыщенных и в то же время глубоко праздных выражениях. Очень немного таких читателей, которые могут отличить деланные восторги от настоящих, порожнее словесное гудение от дела. Большинство даже любит деланные восторги, как любит вообще все то, что отрывает внимание от обычной, серенькой обстановки жизни и дает возможность остановить взоры на иной жизни, быть может, и мишурной, но тешащей своим разнообразием. Нам известно, какие бывают последствия такого мишурного возбуждения чувств. Последствия эти: сегодняшнее опьянение, завтрашнее похмелье и на послезавтра — забвение для натур сильных и продолжительное безобразие для натур слабых и податливых на всякого рода искушения.

Таким образом, или «ничего», или «очень скверно» — вот действие, которое имеет журнальный ад на публику. И надо сказать правду: публика наша до сих пор показывает себя в высшей степени терпеливою и снисходительною, в особенности же относительно «ничего». Она с похвальной настойчивостию выписывает журналы, в которых когда-то нечто было

говорено, она верит именам, которые когда-то нечто обещали, она вдумывается в смысл каждого слова, подбирает разбросанные там и сям крохи журнальной трапезы, «вообще ждет и в ожидание поддерживается». Могут ли подобные отношения быть прочными и надежными? Отвечать на это возможно только сомнением. Искусство для искусства, которое некогда занимало самое видное место в нашей литературе, пало безвозвратно и заменилось искусством тенденциозным и публицистикой. С своей стороны, эти последние очутились в такой странной колее, из которой они никаких тенденций обнаружить не могут. А между тем публика требует чтения, а между тем того чтения, которое было бы пригодно для взрослых людей, нет, да и нет неоцененного искусства для искусства, которое могло бы занять досуг и прогнать скуку в ожидании настоящего чтения. Последствия такого положения вещей должны быть следующие: во-первых, читающая публика может наконец утратить всякое терпение и обратиться к тем затхлым мелодиям печатного русского слова, в которых она встретит, по малой мере, хоть беззастенчивость; во-вторых, та же публика (в том случае, если она будет продолжать оказывать терпение и кротость), приученная к загадкам и междустрочному чтению, рискует в своих толкованиях впасть в такой произвол, который, в свою очередь, поведет к распадению.

Итак, с одной стороны отупение, с другой междоусобие, напоминающее бурю в стакане воды, междоусобие, не захватывающее ни одной жизненной струны, пошное, мелочное... вряд ли подобный результат может казаться желательным кому бы то ни было.

Представьте себе публику, которая окончательно убедилась, что царь Фараон в непродолжительном времени выйдет из Чермного моря и полонит вселенную; или представьте другую публику, которая без устали толкует о том, какое значение следует придавать такому-то словечку, употребленному в таком-то журнале или газете... ведь это почти что сумасшедший дом! А это будет, будет несомненно, если в самом непродолжительном времени литературно-журнальный ад не поспешит устроиться на иных основаниях. Снова возвращаюсь к воспоминаниям о недавно прожитом нами коротком литературном периоде и снова говорю: там было много наивного, незрелого и даже негодного, но в то же время было и зерно чего-то такого, что, однако ж, не взошло. Отчего не взошло? — оттого, что не взошло. Желал бы я за всем тем воротиться к этому времени? — да, желал бы.

Не потому желал бы, что вижу там идеал, а потому просто, что вижу возможность, вижу то самое зерно, которое не взо-

шло. Почтеннейшая публика! ужели же ты не видишь, что литературная нива наша положительно оскудевает, что она грозит в самом непродолжительном времени сделаться совсем-совсем непроизводительною! В самом деле, что произошло на этой ниве за последние три-четыре года? — Стрижи, стрижи и стрижи! О, смех и посрамление! Что будет, если журнальный ад вконец сделается смешным и забавным? Что будет, ежели и впрямь лизоблюд Девошкин сделается в нем сатаною? Что будет, если мир всецело исполнится бессмысленными кликами стрижей или истерическими воплями московских публицистов? ежели эти две уморительные силы предъявят серьезную претензию утвердить вселенную? Украсится ли тогда любезное наше отечество? Будет ли оно внушать страх врагам внешним, сниспошлет ли мир в души врагов внутренних, тех врагов, о которых без устали твердит нам московская пресса? Почтеннейшая публика! размысли об этом.

«Но вывод, практический вывод всей этой длинной иеремиады?» — спросит меня читатель. Сознаюсь откровенно, этого вывода нет и не будет. Но дабы не оставить читателя совсем без вывода, предлагаю вместо одного следующее заключение.

Я начал статью мою словами: «Журнальный ад — смешной, незлобивый и приятный ад». Для тебя, публика, это действительно смешной ад, который может служить даже моделью для замысловатой игрушки; но для делателей этого ада, для тех, которые, по воле рока, осуждены на пребывание в нем, это ад, полный тяжких и непереносных мук. В нем нет обязательного лизания раскаленных сковород, но есть толчение воды, в нем нет железных клещей, вынимающих ребра, но есть витие из песку веревок, в нем нет огненных орлов, прилетающих клевать сердца грешников, но есть бестолковая птица стриж, которая может в одну минуту напакостить столько, сколько во всю жизнь не напакостить самому расстроенному желудком орлу... Суди же сам, благоразумный читатель, какие мучения следует предпочесть.